

МАРИНА ВАЖОВА

Любаха Рассказы о Марусе



Марина Вазова
Любаха. Рассказы о Марусе

«Издательские решения»

Важова М.

Любаха. Рассказы о Марусе / М. Важова — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-902681-1

В сборник включены повесть «Любаха» и «Рассказы о Марусе». «Любаха» — о девочке, пережившей блокаду благодаря своему лёгкому, деятельному характеру. Любаха предстаёт то девочкой, то девушкой, то старухой, для которой прошлое реальнее настоящего. Воспоминания вплетаются в явь событий, герои прошлого находятся рядом, они ждут, они надеются. «Рассказы о Марусе» — трогательные истории о дочке Любахи, о Ленинграде 50-60-х годов. Девочки Люба и Маруся — будто сёстры, разминувшиеся во времени.

ISBN 978-5-44-902681-1

© Важова М.
© Издательские решения

Содержание

ЛЮБАХА	6
БАТЯ	6
КАРТОЧКИ	10
БОЛЬНИЦА	15
РЕМЕСЛЕННОЕ	20
САША	26
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Любаха. Рассказы о Марусе

Марина Вазова

Автор обложки Лия Ли

© Марина Вазова, 2019

ISBN 978-5-4490-2681-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ЛЮБАХА

БАТЯ



– Любка, посмотри, ушёл отец?

Голос матери. Бежать скорее: ведь если он ушёл, то на фабрику за получкой. И тут Любаха – не последний человек. Сам он получку не донесёт и вообще не придёт сегодня домой. Будет шататься по своим друзьям, «дружочкам», пока не завалится где-нибудь.

Если Любка упустит его уход... Но такого уже года два не бывало, чтобы она не пошла за батькой. Поначалу крадучись, по другой стороне улицы, с нарочно взятой корзинкой, в которой мамка приносит яйца от погорелок. Потом – ближе к фабричным баракам – следом идет как ни в чём не бывало. И почти у самой конторы догоняет и, забегая вперёд, весёлую рожу строит. Мол, ты ведь понимаешь, батя, я полностью на твоей стороне, тоже люблю погулять и к «дружочкам» с тобой могу сходить. Но маманька просит... Ты ведь знаешь, больна она, чахотка, ей масло нужно, ви-та-ми-ны. А ты у нас один. Так что не обижайся, слышь? И за руку его берет, будто он маленький, а она большая.

Батя, он что? Он ничего и никогда. Слова грубого или упрёков от него не бывает. Вот рассказать что смешное или душевное, тут он мастак. Или утешать. Никто так не может утешать, как наш батя. Мамка прямо говорит: «Ты меня одним утешением взял». Ещё отец петь любит, почитай, слова всех песен знает. Кто бы ни запел – куплет да припев, а остального не помнят. А батяня всё помнит, будто в его голове записи сделаны. Голос не сильный, но правильный, мелодию не врёт. Только теперь, если он дома поёт, стало быть, пьяный. А тогда нам не до песен, прикидываем, как теперь месяц прожить. Ведь батя только с полочки и напивается, а так – ни боже мой. Мастер он хороший, начальство его ценит, чуть что: «Иван Казимирович, зайдите к главному инженеру поскорее». А это значит лишь одно: у главного инженера что-то стряслось, и только наш отец ему способен помочь. Потом премию бате дадут. С премии Любахе всегда гостинец. Конфеты, к примеру, или слойки. Да и так, без премии, если батю не упустить, обязательно в продмаг зайдём. Только отец скажет просяще: «Любах, тебе ирисок, а мне две кружки пива, идет?» Пива можно, оно недорогое, и мамка сердиться не будет. Лишь пошутит, как вернутся: «Ну что, заговорщики, натрескались?»

Только как же это мамка может шутить? Она ж померла, ещё до войны. Чахотка её успокоила, совсем успокоила. Скромненький крест на старом кладбище, могилка у самой речки Смоленки. Так ведь и батьки нет. Бомбой его в сорок втором зацепило, когда за лошадью под-

битой пошёл: «Всё, девки, скоро сыты будем. У Ижорской заставы конягу подстрелили мессера. Надо скорее бечь, пока не пронюхали, мясцом запастись». Вот и добегался. Сам сгинул, так и не нашли, не схоронили. Люди видели, как всё было, рассказали. А то бы числился в «безвестипропавших».

И как он в эту байку поверил? Ведь ребёнку ясно – никакой лошади в помине нет. Все они уж давно съедены. Нет, не все, оказывается. Лошадь маршала Будённого на законном отдыхе, у маршала на даче травку щипала. Вернее, сено, ведь зима. А тут приспичило её переводить. В целях государственной безопасности. Через весь город вели – и ничего. А как к заставе подходить стали – мессера внезапно налетели и стрелять. Прямо в голову той лошади, она повалилась и лежит. А сопровождающий искать телефон принялся, чтоб доложить о кончине. Потому никто и не знает про лошадь, что секретная она.

Вот враки, слушать невозможно, до чего батька поглупел после мамкиной смерти. Верит в сказки, да ещё сам их придумывает. Только нам-то как теперь? Мне, Нинке и Насте? Мы ведь одни, ни отца, ни матери. Крёстная в круглосуточном дежурстве на седьмой ТЭЦ, остальные все эвакуировались и самовар с собой взяли. Ни еды, ни горячего, ни дров, а ведь декабрь только – до весны далеко. Холодно, холодно-то как! Дует отовсюду. Остается только лежать под ворохом тряпья и ждать. А чего ждать-то? Ведь не придет никто, так и замёрзнем.

Нет, кто-то идет. Шаги по лестнице. А если пройдут мимо, что тогда? Кричать, звать надо. Вдруг это санитары проверяют, нет ли мёртвых по квартирам. Только крика не получается. Сип и тоненький вой. Шаги всё ближе, идут сюда, слава богу. Лишь бы дверь открыли, мимо не прошли. «И-и-и-и...» Вот дверь заскрипела, и такой родной, такой знакомый голос:

– Ну что, Любаха, чего ты распелась?

Всё же батя, родненький, вернулся живой и несёт что-то в руках – Любахе несёт поест. Ну, теперь жить будем, теперь всё плохое позади. Батя жив – наврали про бомбу, – лошади кусок достался, запах вкусный такой по всей комнате. Где там Нинка, Настя? Вставайте, лодырницы!..

– Давай, Любаха, садись, поедим. Кашу будешь?

– Батя, ты?

– Я, я, а кто же ещё? Так будешь кашу? Вчера просила, вот и сварили. Пишённую с тыквой, как ты любишь...

*Сорока-воровка кашу варила,
На порог скакала, гостей созывала.
Гости не бывали, каши не едали
Сорокину кашу Любахе отдали.*

Нет, не батькин голос, хоть и знакомый. Но ведь кто-то рядом сидит, ложку ей в руку сунет, а в другую – хлеба кусок. Хлеб настоящий, сухой, а душистый! Как до войны. И каша в миске почти рядом с лицом. Там масло – его Любаха хорошо видит – жёлтое, не совсем растаяло, но это ещё и лучше: можно ложкой зачерпнуть и съесть так. Вкуснотища!

– А другие уже поели?

– Поели, Любаха, все поели, одна ты осталась. Давай ешь, ведь вкусно?

– Очень вкусно, очень. Спасибо.

Но батей называть не стоит. Скорее всего – не батя это вовсе. Знакомый человек, наверно, тут и живёт. И добрый. Вон сколько каши принёс, ей и не съесть сразу. Да и спать так охота...

– Ну, поспи, поспи, Любаха.

По голове так легонечко погладил и ушёл вроде. Полежать тихонько, будто сплю. Если ушёл, надо встать и посмотреть, оставил он кашу или нет. И где он её взял, а главное – хлеб! Хлеб довоенный, свежий и мягкий такой. Если с собой унёс, плохо. Вряд ли ещё раз принесёт, ведь голод кругом, ой какой голод! И холодно, ноги-руки заледенели...

– А наши все где? – надо спросить, вдруг не ушёл ещё.

– Ромка в армии, Вовчик на теннис ушёл, – неожиданно отзывается. Значит, сидел тихонько, прислушивался. – Оля с классом в Питер на экскурсию поехала, а Томася на работе.

Всё каких-то незнакомых называет – точно не батя. Это его родня, а мои-то, мои: Настя, и Нинка, и Ленка, она на торфоразработках, редко приезжает. А вдруг приехала? Табачку привезла, самокрутки крутить будем, накуримся, чтобы есть не так хотелось.

– А Ленка-то не приехала?

– Какая Ленка? Что ты, Любаха, никакой Ленки у нас нет, спи. Я пойду, тоже лягу, после ночной поспать надо. Так что ты не очень-то шуми. Я зайду ещё.

Тихо. Ушёл, значит. Теперь скорее встать и поискать, куда он кашу и хлеб положил. Вот только встать никак не получается. Тряпья на неё столько навалено, что не выбраться. А ты не торопись, Любка, не спеши, потихонечку. Вот одну ногу вытащила и с кровати спустила. Теперь вторую освобождай. Ну, вставай, вставай! Что ж ты расселась, искать надо, куда еда спрятана. Руками оттолкнись от кровати и иди. Да господи же, совсем от голода обессилела, ни встать, ни подняться! Так и помереть недолго. Ладно, полежать немного, сил набраться и вставать. Встану, встану, всегда вставала и сегодня встану. Только отдохну сначала.

Им, большим, хорошо. Рабочая карточка – это двести пятьдесят граммов хлеба. Почти в два раза больше, чем Любахина иждивенческая. Скорее бы работать пойти. К батю на фабрику ученицей – сразу рабочую дадут, а потом и усиленный паёк, как крёстной за то, что она сутками со своей ТЭЦ не вылезает.

Вот придут они с батей в отдел кадров, а там уже про неё знают и ждут. Смена, что ли, пришла? Это Марья Петровна так Любку «сменой» зовёт. А теперь и правда смена, раз ученицей берут. С батей, конечно, было бы лучше, но у него дело тонкое, надо учиться много, чтобы всё знать. Он ведь наладчик, а это всё равно что инженер, только ещё почётней, рабочие профессии все почётные.

Можно на красильщицу выучиться – ткани красить в разные цвета, а можно на ворсовщицу, они больше получают, там работа вредная, пыли ворсовой много. Зато молоко дают. В цеху станки в три ряда стоят, и за каждым две работницы. Одной никак не успеть, станки работают быстро, тянут ткань с рулона на рулон, а сверху железными щётками потряхивают, концы у них крючком загнуты, ворс поднимают и начёсывают. Следить надо, чтобы ткань равномерно шла, да чтобы в ворс ничего не попало и пропуска не было. Внимательно нужно смотреть, а чуть что – останавливать и исправлять. Но Любаха справится, лишь бы взяли. Там, кроме хлеба, затируху дают, бывает, что и с кукурузной мукой. Да масло раз в месяц полстакана, из чего – непонятно, но все же на нём можно картошку мороженую поджарить. Только вряд ли она осталась, эта картошка, еще до зимы всю подъели...

Сейчас вздремну, силы восстановлю и пойду искать, где хлеб и каша. Сказал, что зайдёт ещё, да обманывает, наверно. Зачем ему худая, бессильная девчонка, вся в поносе и вшах? Или это у Нинки вши и понос? Всё путается, ничего голова не держит. Вот ведь как получилось... А мечтала о балете, в кино сниматься. Всё они, фашисты, измором хотят взять, да только не на тех напали, не отломится им ничего. Ничего. Ничего...

В отличие от брата Серёжки и сестёр-двойняшек Тома и Лёли, Маруся всю жизнь прожила с бабушкой в городе, а к маме надолго приезжала только летом. Так совпало: мамина новая семья, отсутствие жилья и Марусина внезапная тяжёлая болезнь. Мама с новым мужем, дядей Сашей, переехали в областную глушь без врачей и школы. Бабушка вцепилась в Марусю и категорически отказалась её отпускать. А смерть второго братика Лёвушки, названного в честь пропавшего без вести бабушкиного сына, подтвердила её мрачные опасения. Лёвушка умер от крупозного воспаления лёгких, принятого по ошибке врачами скорой помощи за дизентерию.

Эта смерть упрочила бабушкины позиции, и никто уже больше никогда не заговаривал о том, чтобы Марусю маме отдать. Хотя и школа в посёлке появилась, и медпункт. Тень годовалого брата, умершего из-за неправильного диагноза, высилась не только над Марусей с её пороком сердца, но и над новорожденными маленькими двойняшками, которых бабушка, не будь их двое, обязательно бы забрала себе.

Всё детство мама для Маруси была как праздничная фея, которая возникала внезапно и своей волшебной палочкой начинала творить чудеса. У Маруси появлялись новые платья, сшитые маминими руками, хорошее покупное пальто, а не потёртые на обшлагах коротковатые пальтухи, переданные от дальних родственников бабушки. Но главное, конечно, не вещи – бог с ними! – главное, что какое-то время она ощущала мамину любовь, окрашенную чувством вины и потому особенно нежную.

Мама жила на Карельском переходе, и сначала нужно было доехать до Рошино, а это больше часа пути, потом дождаться автобуса и ехать ещё часа два. И тогда только доедешь до мамы. Под конец ничего уже не помогало, и Марусю тошнило и рвало прямо в новые пёстрые рукавицы. В таком состоянии её вытаскивали из автобуса – мама и вытаскивала, приговаривая: «Всё хорошо, хорошо, приехала моя детка». Но это в зимние каникулы. А летом ходило больше автобусов, они были новыми, и Марусю не так укачивало, особенно если удавалось сесть спереди и неуклонно смотреть вперёд, на дорогу. Зато потом – целое лето! И чего только в это лето не происходило! Вольная воля, простор и никаких тебе запретов: туда не ходи, сюда не смотри. С мамой всё было проще, всё было по душе.

Для сестёр Маруся – образец всех мыслимых достоинств: и красавица, и отличница, и певунья, и рукодельница. Ореол ленинградской жизни только усиливал её совершенства. Сестрёнки смотрели ей в рот: она засмеётся – они хохочут, она в печали – им не велено даже подходить, лишь издали сочувствуют.

Другая параллельная жизнь с частицей «бы», счастливые, но быстро пролетающие дни, слёзы при расставании, мамино лицо за окном автобуса, увозящего её, Марусю, в будничную и такую правильную действительность...

КАРТОЧКИ



– Чего ты шлындраешь туда-сюда, чёрт длинный! Всю квартиру выстудишь!

Это Настя, она ещё может встать, у неё пока силы остались. И есть она может. А Нинка уже не может. Ноги безобразно распухли, лежит третий день, а паёк ни за что не отдаст. Выть начинает сразу, как Любка из булочной приходит: свою долю требует. Понюхает, в руках подержит и под подушку запихнёт. Уговаривала её Любаха в долг дать, всё равно ведь не ест – ни в какую. Визжит, злые слёзы из глаз так и текут, руками-спичками за подушку держится и трясётся. Ничего не стоит у неё всё забрать, да жалко Нинку. Хоть и старшая она, но с детства какая-то малахольная, видно, от мамки легкие слабые, всё по больницам и санаториям. Так что они в одном классе учатся, хотя Нинка на три года старше. Вернее, учились, теперь какая школа... Они погодки: Нинка, Настя и Любаха. Батя всё мальчика хотел, а после того как три девки родились и мамка болеть начала, свои мечты оставил, на работе «горел».

Теперь Любаха, хоть и самая младшая, но самая главная. На ней весь дом держится. Нинка долго не протянет, она уже второй день сухая лежит, не ест, не пьёт. Как помрёт, они с Настей склад под подушкой поровну поделят и наедятся, может, хоть раз. Только когда это ещё будет, а есть сейчас так хочется! Думается, вот только бы один разок до отвала наесться, а там можно и опять поголодать. Лишь бы паёк увеличили.

Ходят слухи, что американцы второй фронт откроют, тушёнки и рыбных консервов навезут. Прямо с самолётов скидывать мешки будут – вот потеха! Мешки летят, как бомбы со свистом, а ты и рад. Говорят, в железных банках леденцы монпансье. А банок таких – несколько вагонов. Это всё Любаха в очереди за хлебом наслушалась. Там и не такое рассказывают. Еле достоиншь до своей пайки, тут же на месте и съешь. Остальное сёстрам несёшь с тяжёлым сердцем, ноги совсем перестают двигаться.

Раньше им Ленушка карточки отоваривала, но за это они отдавали ей весь табак. Она пристрастилась курить, чтобы голод заглушать, да только ведь табак можно на хлеб поменять или на сахар. Так что теперь Любаха сама продукты приносит. Ей всё равно не лежится, в голове как будто шарманка крутится, ноги сами куда-то идут. А Ленушку на торфоразработки забрали, она теперь в военной форме и дома почти не бывает. Они, Саватеевы, все такие – везунчики. Хоть и родня, но с гонором. Ленушка среди них ещё самая добрая и весёлая, а остальные в эвакуацию уехали и самовар с собой взяли. Последний самовар был, и тот увезли...

– Чёрт длинный, чего без толку студишь комнату, житья от тебя нет!

Что-то Настя сегодня не такая бойкая, и голос слабый. Самое поганое дело – лежать. Если залёг – конец близок. Так все говорят, только потом сами и ложатся. Глаза такие стеклянные становятся, неподвижные. Даже не верится, что ещё на прошлой неделе про Самарканд рассказывали, тоже туда собирались, как только блокаду прорвут. Это соседка, тётя Вера. Осталась квартиру сторожить, да неделю назад на саночках медбрат её вывозил, в простыню закутанную. Еле видно, что человек лежит, будто тоненький матрасик.

Любаха ни за что не ляжет. Утром, ещё затемно, она воды принесёт с Ковша – самая близкая прорубь, её курсанты-матросики пробивают. Потом по пустым квартирам порыщет – где ещё мебель какая осталась или книги, чтобы печку-голландку затопить. Они теперь в одной комнатке крёстной живут для экономии тепла. Как затопит, согреется вода, заварит чай – и завтрак пожайлуйте. Сегодня на роль чая сгодилась дубовая кора, которую в коридоре на шестом этаже за батареей нашла. Горечь ужасная, конечно, но цвет, как у чая, и полезно для дёсен, а то зубы все шатаются. Нинка пить не стала, а Настя полстакана выпила, да Любку всё ругала, что отравит их она когда-нибудь своими чаями.

Карточки на столе, сетка ещё с вечера в кармане старенькой облезлой кротовой шубки – Ленушкино наследство, у Бологовских никаких шуб отродясь не водилось. Настя не велит брать все карточки, а только на день – потерять можно или украдут. Но сегодня Любаха возьмёт все. Уже договорилась с одной надёжной женщиной, у неё сестра хлеборезкой работает и сможет весь хлеб до конца месяца выдать сразу. Об этом все постоянно говорят. Вот, мол, не сегодня-завтра карточки отменяют, пропадут они, а хлеб – неизвестно, будет ли. Только вперёд не дают, строго запрещено. Но если сестра хлеборезка, то ей никто не указ. Они там все крепкие, сытые, голосами грубыми народ осаживают, а сами крошки подбирают – и в рот. Женщина, конечно, не будет даром стараться: одну из трёх паек придётся ей отдать. Но лишь бы получить, а там разберёмся. Может, на меньшее удастся договориться.

Любаха придёт домой с тяжёлой сеткой. Эй, крикнет, Нинка, Настя, вставайте, лодырницы, посмотрите, что я вам принесла! Настя заругает сначала, но потом только спасибо скажет, как поедят они вволю хлебушка да с горячим чаем. Тётка та еще обещала настоящего чайку в пакетик отсыпать, сестре раз в месяц дают, да она чай не пьёт, всё больше спирт разбавленный. Только бы не забыла тётка та, только бы с кем другим не договорилась – охотников много.

По узкому переулку, по темнеющей в свете наступающего дня тропинке, балансируя на обледенелых помоях, – к заветному огоньку угловой булочной. Неясной массой народ колыхается, кашлем и приглушённым разговором обозначая своё присутствие. Сегодня не надо спрашивать, кто последний. Надо тётку искать. А вдруг Любаха её не узнает, вдруг тётка переодеется в другое пальто, платок сменил? Даже сердце заколотилось, под горло забило от ужаса, что такое может случиться. Договаривались держаться ближе к скверу, где народу поменьше, а то застукают и может скандал получиться: все так хотят – хлеб вперёд получить.

Вот кто-то чёрный стоит, неподвижно, как замороженный. Но нет, двинулась фигура и резко – к ней, Любахе.

– Принесла? – И руку тянет.

– Вот, на троих, до конца месяца. Только нельзя ли...

– Сетка где? – Голос безучастный, не такой, как вчера, когда про чай и спирт разбавленный рассказывала.

Да та ли это тётка? Ну-ка, в лицо посмотрю. Та, та самая, вот и усики на верхней губе, и кольцо тусклым блестит на безымянном пальце. Только молчит как-то странно. Хотя ничего и странного: теперь не до разговоров, они только повредить могут. Теперь надо дело делать.

– К дверям не лезь, я сюда принесу.

И миг протиснулась сквозь толпу и в чёрном проёме исчезла. Нет уж, надо у входа ждать, чтобы не упустить. Хоть тётка и надёжная – крёстную знает и батю помнит – но сейчас всяк

за себя. Так лучше будет: встретит её у дверей, а делить к скверу пойдут, чтоб никто не видел, а то и отнять могут.

Забыла напомнить про чай! Оробела почему-то, а вчера так душевно было, так смешно сестру-хлеборезку изображала, которую все обмануть норовят, так что приглядывать за ней приходится. Но это не помогает, от доброты и рассеянности она то перевесит хлеба, то ижди-венцам как на рабочую карточку выдаст – неприятности потом на работе. Судом грозят, но на её жалкое лицо взглянут – прощают: ведь не ворует она, а сроду такая жалостливая.

Вчера всё было понятно и легко. Сегодня как-то тревожно. Карточки отдала... А вдруг обманет, выйдет и скажет, что в первый раз её видит, никаких карточек не брала, всё Любахе с голодухи померещилось. И ведь поверят ей, взрослой женщине, а не Любке в обтрёпанной кротовой шубке, с красными от мороза несоразмерно большими руками и неистребимым запахом мочи. Но хлеб-то, хлеб! Откуда, спрашивается, у тётки так много хлеба? Тут всё и раскроется, люди поймут! Хлеб, может, и вернуть придётся, но карточки ей уж точно отдадут. Не имеют права забрать!

Эх, зря она это и затеяла! Не отменят карточки, война ещё долго не закончится, хлеб нужен каждый день. А то одна рассказывала, что её соседка съела свой хлеб, потом за своих умерших ночью детей-двойняшек съела, и тут же её скрутило – заворот кишок, она и померла. Не, Любка так не поступит, потихоньку будет есть, на части всё разделит и обязательно с чаем. Про чай забыла напомнить! Наверняка тётка всё забудет, пропало теперь настоящее чаепитие!

Что-то долго она не выходит. Ведь если сестра – хлеборезка, должна мигом отпустить и не за прилавком, а в кладовке справа. Любаха видела, как в эту кладовку люди иногда заходят, а из очереди кто-то сунулся – чуть не с кулаками вытурили, грозили милицией.

Что ж такое? Куда она подевалась? Вот уж и народу мало осталось, надо зайти. Если она там сидит и с сестрой язык чешет, Любаха ей паёк не оставит, так не договаривались. Но где ж она? Нет тётки, как сквозь землю провалилась. Может, всё же в кладовке?

– Куда лезешь?! Эй ты, длинная, куда тебя несёт?! Где твои карточки?

Вроде не злая, и голос усталый, и худая, как все. Сказать, что ли, всё равно уже ясно, что тётка мошенница.

– У меня карточки... Женщина обещала... Жду почти час...

– Смотри, Рая, опять девку обманули, выманили карточки. Я давно говорю, запирать надо чёрный ход после разгрузки. Ну, что теперь делать будешь, балда глупая? Сколько карточек-то отдала? Небось до конца месяца? Две недели как жить теперь будешь? Есть родственники?

Чёрный ход, чёрный ход, вот куда она делась... Получила весь хлеб и удрала. А как же она получила весь хлеб вперёд? Значит, кто-то у неё здесь есть, сообщник есть. Может, и эта, с виду добрая. Все они добрые, когда выманить последнее хотят.

– Это вы, вы мой хлеб ей дали за месяц вперёд! Отдайте мой паёк, отдайте сейчас же, у меня сёстры ждут – Нинка, Настя! Как же они?! Как же мы?!..

– Ты что, Любаха, тут наделала? Котлеты с макаронами расивыряла, а ещё блокадница! Ну что тебя как маленькую кормить, что ли? В войну за кусочком хлеба на другой конец города ходили, а теперь – еду на пол бросать?!

– Я не бросала, это они расивыряли. Как я могу еду бросать, если я голодная? Голодная, и Настя голодная, а Нинка вот-вот помрёт. Дайте хоть что-нибудь, хоть маленький кусочек. А-а-а...

– Ну, ладно, не плачь, всё в порядке. Видишь, я везде убрала. Хорошо хоть у соседей собака есть. Сейчас тебе драников принесу. Будешь драники есть?

– Буду. Всё буду, я голодная. А Нинке и Насте как же?

– Всем дадим, не волнуйся, Любаха.

В Ленинград мама приезжала редко. Отвыкла от города, разлюбила его мрачноватое спокойствие, называя «каменным мешком». Да и к деревенской жизни попривыкла. В деревне она – городская и фасон держит. Работы тяжёлой не гнушается, но уж после работы – никаких гвоздей! Оденется, волосы завитые поправит, пробкой от духов «Красная Москва» за ушами ткнёт, гитару в руки – и в гости. Сколько её дядя Саша ни уговаривал, ни страшал, даже побил однажды, но её с пути не сдвинешь. Только посмотрит так внимательно своим особенным взглядом и ничего не скажет. Зато в посёлке все знали: если Любку позвать, то веселья хватит до утра. Но за мужиками надо приглядывать, они от неё прямо дуреют, готовы гитарку следом таскать, подпевать ей, слов не зная. В клуб на танцы, куда и дорогу забыли, за ней волокуются. А если дядя Саша уж очень приставать начинает, чтоб домой шла, – водочки ему подливают со всех сторон, пока не заснёт где-нибудь в уголке.

А праздник если настоящий – 1 мая или 7 ноября, – мама всегда в президиуме. Единственная блокадница на всю деревню, да ещё член партии. Медаль «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд» к красной кофточке приколет и сияет на весь клуб. Но вечером всё это снимается, достаётся из шкафа крепдешинное сиреневое в мелкий горошек платье, и до утра по посёлку раздаются гитарные переборы и проникновенный мамин голос почему-то с небольшим иностранным акцентом:

Кто в нашем крае
Чилиту не знает?
Она так умна и прекрасна,
И вспльчива так, и властна,
Что ей возражать опасно...

Марусю в клуб мама впервые взяла в шестом классе, на зимних каникулах. Как раз новое платье ей было сшито – мамой, конечно: синее, шерстяное, с плиссированной юбкой и белым, с вышивкой, воротничком. От непривычной обстановки Маруся сидела примолкшая, возле мамы держалась. А та только отбривала солдатиков из соседнего военного городка, да так остроумно и молниеносно, что народ вокруг гоготал, про танцы забыв. И тут Маруся обнаружила, что перед ней стоит военный и что-то говорит. Наверно, он маме говорит, с чего бы ему к девочке обращаться?

– Разрешите вас пригласить на танец.

Всё же это он ей. Маруся от смущения покраснела и голову опустила. Тогда военный уже к маме: мол, позвольте вашу дочку пригласить. Мама тоже, видно, растерялась. Она привыкла, что её все приглашают, а тут на тебе!

– Что ж, иди, потанцуй с офицером, – произносит, еле сдерживая смех и нарочито выделяя последнее слово.

Ну, танцем это было назвать трудно, топтались больше на месте, чтоб у мамы на глазах. Как тот офицер выглядел, Маруся так и не узнала, с опущенной головой весь танец провела, на все вопросы отвечая лаконично: да, нет. И только поворачивая голову в мамину сторону, смущённо хмыкала.

– До чего ты на Рыжова похожа, прямо вылитая. И повадки, и взгляд, особенно усмешка его знаменитая. Только по усмешечке и скажу.

Рыжов – это Марусин отец. Она его не помнит: родители разошлись, когда ей было три года. Но мама много рассказывала. Как познакомилась с ним, как встречались в одной компании, как он её на гитаре играть научил, а потом сказал, что такую хорошую ученицу не хотел бы потерять, и замуж позвал. Он был морским офицером, успел повоевать. Да и сейчас наверно где-то живёт, только никаких вестей о себе не даёт. Пока Маруся была маленькой, она так меч-

тала об отце! Всё представляла, как он звонит в дверь, а она ему открывает и спрашивает: «Вам кого?» А сама уже знает – ведь сколько раз фотографии перебирала. Вот он с мамой в гостях. На маме его китель и фуражка – они ей очень идут. А отец такой высокий, кудрявый, обнимает маму и к щеке прижимается. Только повзрослев, перестала Маруся отца ждать, а потом и вовсе боялась: вдруг приедет, старый, скучный, к ней жить. Нет уж, не надо.

БОЛЬНИЦА



– Эй, ты чего здесь сидишь? Замёрзнешь ведь.

– У меня... Мне...

– Карточки есть?

– Нету, украли карточки, обещали...

Но женщина уже не слушает, открыла дверь и вошла, отвернувшись от Любахи. Наверно, сестричка, белый подол из-под тулупа торчит, молодая ещё. Не хотят её в больницу без карточек брать, и слушать не хотят. Вот возьмёт и помрёт тут прямо у дверей. Небось начальство не похвалит.

Сон убаюкивает, снег заволакивает. Тепло так, хорошо, спокойно. Ничуть умирать не страшно, зря боялась, с голодом боролась, суетилась зачем-то. Хлеб опилочный, чай из дубовой коры – кому это надо? Любахе больше не надо. Здесь останется. А как же Нинка с Настей без неё? Так они всё равно помрут – хлеба-то нет. А если крёстная с дежурства придёт, то спасёт их, или Ленушка приедет. Они спасутся, а Любке уже всё равно, лишь бы полежать, чтобы не гнали и не трогали.

– Так, кто у нас здесь сидит? Ты живая или нет?

– Живая...

– Почему под дверями? – Голос мужской, приятный, не грубый. Этот может помочь.

– Меня без карточек не берут.

– Ах, вот как. Понятно...

Ушёл. Зря только разбудил. Сон такой хороший Любахе снился. Будто батя пришёл домой после полочки, а в руках большая сумка, с которой они в баню ходят. И достаёт он из сумки пакеты и банки всякие, и что-то, в промасленную бумагу завернутое. А ещё яблоки. Много яблок, красных и блестящих. А они все: мамка, Нинка, Настя и соседский Лёнька сидят за столом и ждут чего-то главного. Потому что, пока это главное батя не достанет, ни к чему прикасаться нельзя – иначе всё исчезнет. Они знают и терпят, хотя есть очень хочется. Но вот оно, уже держит батя, в газету завернуто, кирпичиком в руках так ладно сидит. Сейчас батя развернёт кирпичик, и они есть начнут, мамка консервный нож приготовила – банки открывать.

Нет, разбудил, чёрт чернявый. Любаха заметила, что он смуглый, а волосы и глаза тёмные. Зря только разбудил, так и не узнала, что в бумаге, что за кирпич, без которого есть нельзя... Так это же хлеб был! До войны всегда мамка говорила: не ешь без хлеба. А теперь хлеб – основная еда, без него и есть нечего.

Вот закончится война, батя с фронта придёт, Саватеевы из эвакуации возвратятся, крёстная и Ленушка дома жить станут – опять квартира оживёт. С утра – самовар на столе и весь день не сходит, всё кто-то чай пьёт. Не квартира, а проходной двор. Так крёстная говорит, не нравятся ей эти постоянные застолья и шумные разговоры. И Лёва, сын крёстной, возвратится домой. Не важно, что писем давно нет, Любка верит, что с ним всё хорошо. Ему только шестнадцать исполнилось, но Лёвка себе два года приписал и на фронт добровольцем ушёл.

Все соберутся, значит, за круглым большим столом, мамка свою картофельную запеканку с луком достанет из-под полотенца – тёплую ещё. Батя по такому случаю, конечно, бутылочку раздобудет, а крёстная с работы сахар принесёт. Она для сына копила, на работе в шкафчике держала, а домой не несла, чтобы нам соблазна не было. Теперь, раз Лёвка вернулся, сахар – на стол. Патефон заведём, пластинки будем слушать. А потом опять поедем. Ведь война закончилась – можно есть, не экономить. Саватеевы из Самарканда вяленых абрикосов привезут и орехов целый мешок. Ленушке на торфоразработках дадут паёк на неделю вперёд. Жалеть нечего: раз война кончилась, всё наладится.

Только Нинки с Настей нет за столом. Куда же они подевались? Неужто померли, не дождалась, когда Любаха им хлеба принесёт? Да нет же, вот они, из кухни по коридору идут, и у каждой противень в руках, а на противнях... Пирожки! Маленькие, с золотистой корочкой, какие мамка всегда печёт.

– С рисом и яйцом, – говорит Нинка и смеётся радостно. А Настя молчит, глаза опустила, стесняется своих распухших ног.

– Дайте-ка нашей младшенькой, нашей Любахе пирожков попробовать. Ведь если бы не она, не сидеть бы нам здесь и не праздновать, – говорит батя весело.

Вот он кладёт на тарелку два пирожка и к Любке пробирается, но никак не может подойти: то стулья плотно наставлены, то самовар между ними. Что же это такое, почему все мешают, ведь Любаха так ещё ничего и не поела. Ведь она голодная, го-лод-ная...

– Эй, ты как, жива? – опять чернявый. Видать, доктор, стетоскоп на шее поблёскивает. Темень кругом, видно, ночь уже, только над дверью лампочка тусклая.

– Пирожки... пирожков хочу...

– Ну-ка, кто там, Егоровна, Катя, быстрее её в помывочную! И чаю, чаю сладкого сначала дайте! Если уж пирожков хочет, жить будет.

На каталку усадили и везут по длинным коридорам. Свет и тьма полосами перемежаются, аж голова заболела. Вот заехали куда-то в тёплый закуток. Шум воды, бормочут что-то меж собой. Одежду принялись снимать.

– Всё в печь, там вши и зараза может быть, – командует беззубый бас.

Никаких вшей нет, это у Насти вши. Или у Нинки? Но пусть сжигают, значит, новое дадут.

– Чаю, чаю мне сладкого. Слышали, что доктор сказал?

– Эта доходяга ещё нас с тобой переживёт, – опять беззубый бас. – То пирожков ей, то чаю сладкого. Хлеба не просит, не-е-е.

– Карточки украли, нет больше хлеба, – выдохнула разом и во тьму провалилась горячую...

Светло как! День уже, а она всё лежит. И никто не разбудит, не скажет: иди, мол, Любаха, за водой сходи, дровишек каких поищи. А за хлебом-то! Ведь опоздала, не достанется хлеба сегодня! Так ведь за хлебом теперь не получится, КАРТОЧКИ УКРАЛИ... А Нинка с Настей почему молчат? Неужто померли? И почему кровати так много? Что это вокруг? Ведь не их комната, а громадная, прямо зал. А-а-а... так это больница, я в больнице лежу!

Надо оглядеться, что тут за порядки. Кровати посреди зала в два ряда стоят, спинка к спинке, тумбочки справа, кое-где табуретки. Молчаливый народ лежит, только кашляют, разговоров никаких. Встать бы да пойти туалет искать. А вот и тапки: большие, войлочные

обрезанные валенки. На спинке кровати – стеганный серый халат. Да не халат вовсе, а длинный ватник с торчащей кое-где ватой. Надеть и скорее идти. Вот коридор, никого нет. Так, тут что? Палата такая же, как у неё, и так же все молча лежат, не понять, кто живой. А здесь? Кабинет со шкафами и столом посередине.

– Тебе чего, мальчик? – из-за шкафа появляется фигура в белом халате и косынке, видать, медсестра.

– В туалет надо, – Любаха дотрагивается до своей головы и натывается на короткий колкий ёжик волос. – Только я девочка, Люба Бологовская.

– А, ты из седьмой? Та, что без карточек? Молодец, что встала. Иди направо, за угол заверни. Только не спеши, а то на кафеле поскользнуться можно.

Сколько уже времени прошло? Час? День? Неделя? А она всё лежит в этом громадном зале, как больная. Но ведь она вовсе не больна, ослабла малость, силы потеряла. Надо просто поесть, горяченького попить и можно встать. Вон по коридору каталка едет. Или покойника везут, или еду. Остановились, вот и дверь открывается. Ведро и кастрюля – значит, поесть дадут.

– Эй, кто ходячие? Обедать.

Несколько теней встают с кроватей, Любаха быстрее всех. Боком, боком и уже первая у каталки. В миску плюхнули баланды, в ней труха какая-то плавает, а запах! Пахнет чем-то жареным. Хлеба три куса дали и чай. Да ещё с сахарным песком! Ложкой из банки достают – и в кружку. Скорее поесть, может, добавка будет.

– Бологовская, раз ты уже ходишь, помогай раздавать. Да покорми, кого сможешь.

Покормить – это можно. Вот, бабушка, тебе супчику. Сама есть стала, идём дальше. А эта спиной повернулась, спит, что ли? Эй, гражданочка, обедать давайте! Холодная уже. Тут больная умерла, слышите! Ну, а здесь у нас кто? Вроде дед, весь в седой бороде. Дедушка, пора обедать! Ага, шевелится, значит, будем кормить.

Вот это другое дело. Что толку лежать, шевелиться надо, двигаться больше. Так доктор сказал: будешь двигаться – будешь жить. А ведь жить хочется! Особенно теперь, когда кормят каждый день.

Потом на кухню: посуду мыть. Ей разрешили. Кастрюли большущие с пригорелой кашей. Только велели быть осторожной. Ну, чтобы не переедать, а то может скрутить в одночасье. Любка понимает, перерывы делает. Отскребёт пригорелую кашу от дна кастрюли – до чего вкусна эта пригорелая корка! – всю сразу не ест. Вообще сама всё не ест, таскает в палату двум маленьким девчонкам, они на поправку пошли, есть начали, а выписывать их некуда – дом разбомбило, все погибли, пока они к реке за водой ходили. Нянечка сказала, что в детдом их отправят скоро, а пока Любка их подкармливает.

Так весь день и ползает: то судно выносить, то кормить, то посуду мыть. Но к вечеру сама валится без задних ног. Вот тут-то они и подступают со всех сторон: мамка, батя, Нинка с Настей, соседка тётя Вера. Молчат, только смотрят на неё, на руки её смотрят, в которых она миску с пригорелой кашей держит. Так нате, поешьте. Любаха протягивает им миску, а там уже ничего нет, всё раздала. И Лёвушка, сын крёстной, тоже здесь, улыбается, а сам голову опустил, пилотку в руках мнёт.

– Лёвка, ты живой?

– Ну, а сама как думаешь? – и тут поднимает глаза, а это и не Лёвка, оказывается, а Лёня, тёти Веры сын, который в эвакуацию с училищем уехал. Ей стыдно, что она его перепутала. Хотя Лёвка, Лёнька – похоже, может и не заметил.

– Ты ведь уехал в Самарканд. Уже вернулся? А знаешь, ведь мама твоя...

– Знаю, потому и вернулся, ведь надо похоронить по-человечески, а то её со всеми в одну яму сбросят.

Любаха молчит: как ему сказать, что уже похоронена тётя Вера и в одну яму со всеми положена. Так теперь всех хоронят. Но пусть сам узнает, не от неё. Вот он поворачивается, и все тоже поворачиваются и уходят, только Настя медлит, силится что-то сказать, губы разъезжаются: то ли засмеётся, то ли заплачет. Отвернулась и за остальными пошла...

– Доктор, а можно я ещё у вас тут в больнице поживу? Я ведь не просто так, я помогаю.

– Конечно, поживи, Любаха, живи, сколько хочешь.

– А мои-то как? Они приходят каждый вечер, ничего?

– Пусть приходят, нам не жалко. Главное, чтобы ты ночью спала, не колобродила.

– Так я и сплю ночью, за день набегаюсь и сплю.

– Ну, не всегда спишь. Сегодня ночью кто палкой стучал и всех перебудил?

– Кто стучал? Я не знаю, кто стучал, а я спала, ничего не слышала.

– Нам же всем утром вставать на работу. Томася так и пошла, не выспавшись, всё к тебе бежала, ты есть просила, а сама так ничего и не съела.

– Ну не буду, не буду больше. Это всё они, приходят голодные, мне их жалко. Особенно Нинку с Настей, ведь они без карточек остались. Хотя, наверно, померли уже.

– Так они все давно померли, Любаха. А мы пока живые и хотим ночью спать.

Пианино появилось у мамы после переезда, когда по случаю рождения двойняшек совхоз выделил семье полдома в три комнаты. Раньше ему просто не было места. Увеличенная площадь сама по себе ничего не решала. Везти громоздкий инструмент из города было хлопотно и дорого. Помог случай: из соседнего военного городка Каменка уезжала семья офицера. Вот тут и совпали интересы офицерской жены и Марусиной мамы. Недолгие переговоры, стремительный торг и – пожалуйста! – уже через день пианино было доставлено на грузовике под защитным тентом, с предосторожностями выгружено и занесено в гостиную – самую большую комнату дома. Дядя Саша пришёл с работы, а оно уже стоит на самом почётном месте, отеснив комод в крохотную спальню. Он только крикнул с досады, но потом, обдумав, смирился и даже повеселел, решив, что теперь Любушка будет поменьше порхать с гитарой по совхозу.

Народ потянулся посмотреть невиданную для деревни вещь – пианино. Старинное, матово-чёрное, с бронзовыми подсвечниками по бокам и костяными желтоватыми клавишами. Вещь солидная, антикварная. Маруся сунулась было побренчать, но мама категорически запретила даже поднимать крышку. Она сама его настроила, для чего два раза ездила в Ленинград покупать инструменты: камертон, настроенный ключ, клинья, а потом колки и струны для замены.

Когда всё было готово, собрались гости, и мама, нарядная и загадочная, села на специальный вращающийся стул, который шёл к инструменту бесплатным приложением. Она подняла крышку, секунду промедлила с застывшими над клавишами руками, а потом сделала очень быстрый взмах правой рукой в сторону гостей, захватив в этом взмахе летучие, вибрирующие звуки. И не дав опомниться, понеслась руками в обратную сторону, выбивая из застывшей клавиатуры бравурную мелодию. Маруся чувствовала, как мамины пальцы, касаясь гладкой, скользкой поверхности клавиш, каким-то образом касаются и её, Марусиной груди, оставляя на коже пупырчатые мурашки.

Остальные, похоже, ничего такого не ощущали, слушали с застывшим почтением, молча. Только сосед дядя Ваня, дождавшись паузы, добродушно произнёс: «А кроме Шульберта сыграть что-нибудь можешь? Так, чтоб подпеть или сплясать». Мама усмехнулась, тряхнула кудрявой завитой головой и всех к столу пригласила – выпить-закусить. И сама пила наравне с мужчинами, а потом развернулась к пианино и, ещё не присев на круглый стульчик, заиграла шумно и лихо, временами срываясь неверными пальцами с полировки клавиш. Но этого никто не замечал, народ громко подпевал, заказывая всё новые песни. Мама то соглашалась и играла,

то мотала головой и предлагала лучше выпить. Концерты продолжались до середины ночи, пока не кончалась выпивка. Мама их называла «исполнить Шюльберта», но при Марусе они случались крайне редко. Стеснялась мама своей городской дочки.

РЕМЕСЛЕННОЕ



– Ну, Бологовская, будем тебя выписывать.

Любаха сидит в кожаном потёртом кресле в кабинете у доктора, Григория Давыдовича. Тот не смотрит на Любку, он разглядывает и протирает свои очки в чёрной оправе с примотанной изоляцией дужкой. Доктор провёл обычную бессонную ночь, и небритые щёки усиливают тени от скул.

Когда-то это должно было случиться, её и так держат в больнице почти два месяца. Она бы и жила тут, пока война не кончится, но надо идти домой. Только что ей там делать, ведь никого нет. Да и привыкла она уже, прижилась, как-то страшно уходить. За это время поняла с односторонним сознанием внезапно разбуженного человека, до какой черты вымирания она почти дошла. Теперь-то что, жить можно! Перестали мучить мысли о еде, зубы меньше шатаются – всё благодаря сосновой трухе, которую в кашу сыплют. А что ей одной дома делать? Нинка и Настя умерли. Крёстная на казарменном положении, домой почти не приходит, Ленушку перекинули окопы рыть, остальные где-то сгинули в эвакуации – ни слуху, ни духу.

Как бы читая её мысли, Григорий Давыдович поднимает голову: «Шла бы ты в ремесленное учиться. На „Красный Октябрь“, тут недалеко. Специальность получишь, паёк рабочий дадут и кормить будут три раза в день. Там и общежитие есть, если тебе пойти некуда. Вот я записочку дам к директору, лечил его после ранения»...

Любка выходит из дверей больницы, скашивает глаза на то место, где она чуть не замёрзла насмерть. Спасибо доктору, спас он её. И записку вот дал, и объяснил, как добраться. Хотя Любаха хорошо знает Васильевский, дорогу найдёт, но всё же Григория Давыдовича слушает, не перебивая, – может, никогда больше и не увидятся они, кто знает? И он всё подробно разъясняет: до Среднего дойти, там повернуть направо и идти к Восьмой линии, а потом так по ней и двигать в сторону Малого проспекта.

Вот выходит Любка на улицу, а там уже весной пахнет. Сугробы низко осели, почернели, ручейки бегут, образуя озёра в разбитом бомбёжками асфальте. Небо такое нарядное, голубое, чистое, и не верится, что война где-то гремит-полыхает, что это только временное затишье. Мёртвая тишина блокадного города...

Хотя за два больничных месяца Любаха немного стала на человека похожа и голодный бред почти отступил, но она всё помнит. И всегда будет помнить. Война закончится, они победят, снова будет вдоволь еды, будет хлеб, настоящий хлеб. Ешь сколько хочешь! И бомбёжки прекратятся, и метроном перестанет частить, а будет спокойно отсчитывать мирное время. Только надо потерпеть, надо всё перетерпеть и выжить. Обязательно выжить!

– Я живучая, всё выдержу, – Любаха повторяет это на выдохе, в такт шагам. Только ноги плохо слушаются, вроде на месте топчутся. Никакого ветра нет, а стена воздуха впереди осязаема. Давит, давит, вперед не пускает. Похоже, и к вечеру не дойти...

*– Вот поднялся Вяйнямёйнен,
стал на твердь двумя ногами
там на острове средь моря
там на суше без деревьев,*

– голос Томаси успокаивает, и будто нет никакой войны, блокада снята, и все вернулись живые и здоровые.

Это из «Калевалы», у крёстной была такая книга, наша семейная реликвия. В детстве Любка местами наизусть её знала. Как хорошо, что Томася ей читает каждый вечер, сама она уже не может: не видит ничего, и очки не помогают.

– Читай, читай, доча. Это наша родовая книга. Бывало, крёстная её наизусть нам пересказывала. Мы с Лёвкой тоже многое помнили. Да вот ушёл он на войну и сгинул.

Многие сгинули, а некоторые вернулись. Стоят у своих домов, курят, рады, что живы остались, что ждали их. И батя такой весёлый, Любахе руку подаёт, вперёд тянет и пальцами щёлкает, подгоняет:

– Не бойся, Любка, мы с тобой сильные, выживем. Обопрись на меня, и пойдём. Высоко подниматься, долог и труден путь, неприступны преграды, но в конце пути ждёт нас... Ты ведь знаешь, Любаха, зачем нам на эдакую верхотуру забираться надо?

Знаю, знаю, он там. Единственный остался с прежних времён. Только бы на него посмотреть, руками дотронуться. Столько о нём говорили, но увидеть пока так и не пришлось. А он ведь с прошлого века там стоит. Тяжеленный, огромный, ни в какие двери не пролезает. Так и будет стоять, пока здание не рухнет. В гражданскую стоял, в революцию выстоял, и сейчас стоит, ни одна бомбёжка его не задела.

– Ты спишь, что ли, мамулечка?

– Не сплю я, некогда мне спать, надо в ремесленное затемно уснуть. Ноги, ноги мои подвоят, никак не хотят идти... Сил нет, а то бы я бегом побежала, там скоро ужин начнётся. Уснуть бы, каши поест, чаю горячего...

– Ты, видно, проголодалась? Сейчас мы тебя мигом накормим.

– Сделайте доброе дело, дети мои. Покормите свою мамку, может, и жива она останется.

– Ещё бы! Живее всех живых. Ты щей хочешь?

– И щей, и всё, что не доели, всё буду есть.

Как же её звали, чёрненькую, маленькую, одни глаза на лице? А Камой её звали. Вот дружба настоящая, таких друзей теперь нет. Ещё Тоня и Зина неразлучные, всё шепчутся, а потом обязательно Зина говорит, а Тоня молчит.

– Знать бы, где зарыты автоматы для фортепианной механики, мы бы сразу дело наладили, – мечтает Кама.

– Это когда было? Ещё в начале войны. Никого уже и в живых-то нет. Да и где взять древесину? Ель клавиатурную, граб? А чугунные рамы, сукно, целлулоид – кто нам всё это даст? – Зина не верит в затею. Их задача – помогать фронту, делать деревянные противотанковые мины. И футляры для партизанских радиоприемников, и лыжи, и крылья для самолётов. А не пианино. Кому они нужны – в разгар войны?!

Нужны, раз партия и правительство такую задачу ставят. Говорят, что консерваторию открывать собираются, на чём студентам учиться? Любаха уже всё обдумала. Главное, что их взяли на обучение к Дмитрию Кондратьевичу. Ему, их любимому мастеру, поручено восстановить производство пианино. Плохо то, что померли все, кто в начале войны закапывал эти автоматы, а без них механику не сделать. Вернее, сделать можно, но в десять раз дольше и хуже.

– Ничего, Любка, и без автоматов обойдёмся, – заклеив языком самокрутку, произносит Дмитрий Кондратьевич. – Я вас всему научу. Будете сами струны навивать, механику устанавливать и регулировать. Корпуса вы уже делать умеете, фанеровать тоже. Должно у нас получиться не хуже, чем до войны...

До чего крута лестница, как много ступеней! Но сегодня она наконец доберётся до заветной двери. На четвёртый этаж никто не ходит, нет ни сил, ни надобности... А ей надо, ей очень надо! Здесь, за массивной дверью с резными виноградными листьями и птичками поверху, в полутёмном зале затаился, ждёт своего часа старинный чёрный рояль на трёх точёных ногах. О нём все давно забыли. Пылью, как пеплом, подёрнут, но даже отсюда видно: на передней панели тусклым золотом отсвечивает «J. Becker».

Подойти, открыть крышку... Вот они, знаменитые беккеровские клавиши. Дмитрий Кондратьич про них рассказывал. Беккеру удалось сделать так, что сила звука напрямую стала зависеть от силы удара по клавишам. Там должна быть регулировка боковыми деревяшками с винтиками. А самое главное изобретение – проще простого! – струны помещены не сверху доски, как обыкновенно делается, а снизу. Поэтому они встают намертво, и тон получается необыкновенной чистоты, а настройки долго сохраняются. Всё у Беккера придумано просто, такой он был гений. Рояль – это вам не пианино, совсем другой инструмент. Само устройство клавиш, их механика – всё другое. Только на рояле можно много раз и очень быстро нажимать на одну и ту же клавишу: рояльный молоточек может повторно ударить по струне, когда клавиша ещё не успела подняться. Вот Любаха сейчас и проверит...

К примеру, эти ноты 7-й симфонии Шостаковича – недавно Кама их принесла, Любка немного выучила. Надо попробовать... Для начала взять несколько аккордов. Как здорово! Такой глубокий и чистый звук! Как будто рояль только что настроен, а не стоял две зимы без тепла. Вот это инструмент!

*Вековечный Вяйнямйнен
всё на кантеле играет,
всё поет, и всё играет,
и без пения ликует
Звон летит к жилищам лунным,
радость – к солнечным окошкам.*

– *Читай, читай, доча. Ты читаешь, а я крёстную вспоминаю. Она про всё нам рассказывала: про Похью и Сариолу, Илмаринена и Ловхи. А потом началась война, блокада. Топить было нечем и сожгли нашу родовую книгу.*

– *Нет, мамуля, не сожгли. Вот она, у меня в руках. Я же тебе её и читаю. Видишь, какая она старая, склеенная вся. Ты же сама нам говорила: берегите, девки, родовую книгу, мы и бережём...*

Никто не знает, но Кама уже давно учит её играть. У них дома осталось старое немецкое пианино, не сожгли за две зимы в буржуйке. Мать Камки работала до войны в кинотеатре, создавая фон немому фильму, а как звуковое кино появилось, стала играть перед сеансом. Она и Каму к музыке приохотила, но та решила стать настройщицей и поступила на «Красный Октябрь» ещё раньше Любахи.

– Ты что, Бологовская, здесь делаешь? Все у станков, норму выполняют, а она за рояль уселась! И кто тебя надоумил сюда забраться? Видно, мастер ваш, Фёдоров, пропаганду разводит, с толку вас, дурочек, сбивает. Фронт от нас ждёт отдачи, самолёты чинить нечем, партизаны без раций пропадают, а она тут на рояльке наигрывает! – в дверях Катя Синицына, секретарь комитета комсомола. За её спиной маячат какие-то тени, проступают серые лица, осуждающе качаются справа налево, слева направо... Так это ребята, чья смена закончилась. Вот среди серого блеснуло светом, остро так и весело – Кама улыбается ободряюще.

И встаёт с поля брани Илмаринен, подбирает обломок меча и давай крошить чудище поганое. Открывает глаза Вяйнямёйнен, ладонью сбивает вороньё, клевавшее его тело, кладёт в сторонку кантеле и достает из-за плеча лук, стрелу калёную вкладывает...

– Я задержусь, отработаю, а Дмитрий Кондратьич ни при чём, он меня сюда не послал. В библиотеке мне подсказали... – голос Любахи пресекается: ведь никаких имён лучше не называть, а она, растяпа...

– Поня-я-ятно, ещё и Вера Гавриловна вредные мечтания подогревает, ей бы в цех, да по двенадцать часов у станка постоять, живо бы про свои буржуйские дела забыла. Чтобы я вашей музыки больше не слышала! Марш за работу!

– Нас взяли пианино собирать, а не мины. Сам директор обещал меня выучить на настройщицу, и план по пианино тоже есть, я знаю!

Как язык у неё поворачивается такое говорить и ещё кому?! Самой Синицыной, её все вокруг уважают и боятся, даже Дмитрий Кондратьич тушуетя, хоть он вдвое старше. Но серые, усталые лица уже выходят из тумана, проявляются бликами оживших глаз. Дети, маленькие старички и старушки, с интересом смотрят на неё, на Любаху – что-то сейчас будет?

*Молвил старый Вяйнямёйнен:
«Не страшны твои угрозы,
ни мечи твои, ни знания,
ни стремленья, ни хотенья.
Только всё-таки, но всё же
ни за что с тобой не стану
измерять мечей, несчастный,
на клинки смотреть, ничтожный!».*

– Я запрещаю тебе, Бологовская, притрагиваться к роялю до конца войны. Иначе поставлю вопрос о твоём членстве в комсомоле. Ну, а с бригадой Фёдорова считай что распрощалась, – Катерина развернулась было, чтобы уйти, но Любаха какой-то неведомой силой подхватила и через секунду была возле окна. Открыть его, скорее открыть. Чёрт, шпингалет заржавел! Так, на подоконник встать и раму на се-бя! Вот, отлетела она с треском разрываемых многолетних слоёв газет, теперь вторую раму рвануть... Только вниз не смотреть, сделать шаг и...

– Люба, Любочка, ты что? Ты что придумала? Не двигайся, замри, я тебя сейчас сниму. Глупая, я ведь пошутила. Играй, играй, сколько хочешь! Нам настройщицы скоро понадобятся, а ты музыке училась. Садись, поиграй, что ты сейчас играла. Очень правильная музыка, патриотичная. С такой музыкой мы фашистов будем гнать до самого Берлина. Ну, садись за рояль, мы слушаем. Играй, играй...

Это что, мои руки? Откуда коричневые пятна, набухшие вены? Кожа висит как тряпка. Вот до чего голод довел! Старость пришла к ней, молодой девчонке. Преждевременная старость пришла, и ведь не пожила нисколько...

Только пятнадцать исполнилось, день рождения осенью был. Никогда не отмечали, а тут вдруг решили. Крёстная принесла свой военный паёк, нашлось немного прошлогодней сливянки, присланной ещё батиными сослуживцами на день ангела. Настоящий день рождения, с подарками, патефоном и угощением. Только друзей почти не было, все эвакуировались.

Нинка с Настей сидят нарядные, лучшие платья надели, волосы по-взрослому закололи. Ленушка достала из шкафа пластинки, и они танцуют, а крёстная рассказывает, как их семья в Карелии раньше жила, мучные склады её отец держал, и хлебом торговали в Петрограде, своя лавка была или даже две. Но это давно, она тогда маленькой девчонкой была. А теперь крёстная вся высохла, и Любаха вся высохла, они обе теперь, как две старухи...

– Я есть хочу, я голодная, принесите мне хоть что-нибудь. Неужели вам не жалко меня? Я столько дней не ела, хоть корочку хлеба!

– Любаха, ты что? Ты ведь недавно обедала. Твоя любимая жареная рыба, с корочкой, как ты хотела, потом овощи со сметаной и кисель из черники. Ты что, забыла, моя дорогая, моя любимая мамочка?

– Придумываете всё, лишь бы сэкономить на СТАРУХЕ.

– Ты и не старуха вовсе, а мамочка, Любаха, любимая наша мамуся.

– Так принесите мне поесть. Батя, дай своей доченьке поесть чего-нибудь. На язык положить вкусного. Что у тебя есть?

– Всего полно. И овощи, и рыба остались, а я пирог пеку, как ты любишь – с грибами.

– Так, господи же, всё у них есть, а СТАРУХУ голодом морят.

– Несу, несу, мамочка...

Приезжая в Ленинград, мама обычно шла к Эльке, своей подруге детства. Всего-то надо было спуститься этажом ниже, нажать на самую верхнюю кнопку звонка и ждать, прислушиваясь к квартирным шорохам. Тётя Эля жила с дядей Васей в узкой маленькой комнатке уютной коммуналки, где соседи больше походили на родственников. С коммуналками всегда так: или одна семья, или змеюшник.

Маруся шла с мамой – а как же иначе? – вдыхала запахи тёти Элиной квартиры (в ИХ квартире пахло совсем по-другому), располагалась в единственном плюшевом кресле и замирала, не выпуская маму из виду. Дядя Вася разливал водочку, настоящую каждый раз иначе: то на апельсиновых корках, то на жгучем красном перце или на калгане – от него получался цвет коньяка. Тётя Эля заводила патефон, и всю квартиру заполнял высокий бас Фёдора Шаляпина: «Из-за острова на стрежень...»

Марусю угощали «хворостом»: его пекла старенькая тёти Элина мама, которая жила на Петроградской, была бодрой и самостоятельной. Маруся её никогда не видела, а знала исключительно по «хворосту», который раз в неделю дядя Вася привозил от тёщи. Сама же тётя Эля готовила редко, доверяя дяде Васе это ответственное дело. Детей у них не было, зато полноправно жил кот, видимо сибирский, большой и пушистый, и звали его Тарзаном. Его миска и горшок стояли тут же в комнате возле двери, но, как ни странно, никаких запахов не было: видимо, всё сразу убиралось.

Маруся прислушивалась к разговорам, но мало что понимала. Самым главным для неё было – ни на минуту не расставаться с мамой. Но она знала, что наступит такой момент, обязательно наступит, всегда наступает: мама остается, а Маруся уходит. Или Маруся остается,

а мама, делая вид, что всё в порядке и что она ненадолго, берёт в левую руку большую чёрную сумку с верёвочными ручками, а правой открывает замок двери, роняя через плечо: «Ну, поехала я, а то опоздаю». Маруся стоит молча, следит глазами, как в проёме двери в последний раз возникает мамин профиль, а идущая следом бабушка что-то говорит напоследок, но Маруся уже ничего не слышит: она глохнет от подступивших рыданий.

А пока всё хорошо, и мама рядом, оживлённая, красивая. Маруся ловит каждое её слово, каждое движение артистичных, уверенных рук. Дядя Вася с тётей Элей тоже довольные, шутят и жизненные истории рассказывают, которые Маруся слушает вполуха. Но поневоле что-то запоминается и становится как бы кусочком и её жизни. Особенно все эти «а помнишь?».

– А помнишь, как мы на танцы после войны ходили? – заранее сощурился в усмешке глаза и подняв левую бровь с хохолком, начинает мама.

– Ну как же, всё помню, – чуть картаво рокошет тётя Эля, деликатно откусывая хвостик у шпроты. – Особенно тот раз, когда ты в моих туфлях пошла. У тебя тридцать восьмой, а у меня тридцать шестой, да еще туфли новые, не разношенные. Ох, уж я тебе тогда не позавидовала.

– Так у нас кроме сапог ничего не было, – задним числом оправдывается мама. – Правда, к концу танцев мне казалось, что у меня вместо ног натирающие протезы, как у Фёдки-борца из шестой квартиры. А туфельки твои до чего хороши были: чёрненькие, лакированные, с тоненьким ремешком.

– Ну, туфли оказались безнадежно испорчены, зато у тебя, помнится, тогда отбоя от поклонников не было, ты вся излучала загадочность неземную. Не такая полундра, как обычно. Да и платье моё тебе очень шло, а на мне сидело как на доярке, – тётя Эля любила преуменьшать свои достоинства, на комплимент напрашивалась. Дядю Васю провоцировала. А тому хоть бы что: доярка, так доярка. Ему тётя Эля нравилась в любом виде.

Потом приходила бабушка и забирала Марусю делать уроки, а так не хотелось уходить! Ну ещё полчаса, ну, мама, скажи, что мы вместе скоро придём... Тут мама поддерживала бабушку, обещая Марусе, что не задержится надолго. Но Маруся ложилась спать, а мамы всё не было. Бабушка ходила, поджав губы, и разговаривала сама с собой, до Маруси доносились только обрывки: «Будут гудеть до утра... Ребёнком прикрывается, а сама... Вот придёт, я вопрос ребром...»

Но утром всё было тихо, мама сидела за столом, а бабушка хлопотала возле неё: «Может, за кефиром сбегать?» А мама пила чай и подсчитывала, когда ей нужно выходить из дома, чтобы не опоздать на электричку. Бабушка то и дело принималась тихонько увещевать маму: «Зачем ты к ним ходишь? Ты ведь знаешь, что ей пить нельзя, она в психушке лежала, из петли вынимали. И как её Васька терпит? Давно бы ушёл к своему ребёнку, от этой-то ждать нечего». Маруся понимала, что разговор идёт про тётю Элю. Бабушка её явно не любила, и каждый приезд мамы с хождением «в гости» вызывал у неё молчаливое порицание. Только на другой день, воспользовавшись маминым «недомоганием», она позволяла себе в очередной раз устроить тихий разнос тёте Эле. Марусе было обидно: тётя Эля с дядей Васей ей очень нравились, и никогда ничего плохого о них она не слышала – ведь всё же на одной лестнице жили. А главное – мама в такие минуты поругания молчала и не стремилась защитить свою подругу.

САША



– Любка! Бологовская! К тебе пришли!

Вроде за окном кричат. Или у двери? Кто там мог прийти? Ленушку, что ли, с торфоразработок отпустили? А вдруг наши из эвакуации приехали!

– Уже иду!

Вот куда идти, толком не пойму. Совсем дурная стала от лежания. Из окна видна красная стена фабрики, там Зинка с Тоней за неё всю работу делают, чтобы Дмитрия Кондратьича не подвести. Им Любаху навещать некогда, норму на троих гонят до самой ночи, а еще и домой добраться надо...

– Ну, где ты там застряла?! Смотри, проворонишь своё счастье!

Да иду я, иду, вот только ватник надену да обуюсь, не идти же в носках. И что ещё за счастье такое? Допшаёк, что ли, выдали? Тогда спешить надо, а то и отъесть могут. Не нарочно, а машинально, Любка сама так не раз делала. Вроде держит, сохраняет, а как отдавать – куска и не хватает. Такой морок нападает, как в бессознании: вроде и видит всё, и речь понимает, и говорит даже, а во рту уже зубы что-то перемальвуют, раз – и проглотила.

Вот и приёмный покой. Громко сказано, всего лишь пристройка: дощатые сени, изнутри фанерой обшиты для тепла. Да какое там тепло от фанеры! Буржуйка пока топится – еще ничего, но стоит погасить – холод собачий уже через полчаса.

Сегодня что-то печка не топлена. И никого не видно. Дверь, что ли, открыть? Господи, да что ж такое – лето на улице! А она – ватник, калоши... Память вовсе отшибло. И улица не та, нет ни фабрики, ни сеней дощатых. Так она же дома, на Шкиперке, вот и сквер, весь в грядках, народ копошится, сажают что-то.

– Вы Люба? – мужчина в морской форме, из ворот только вышел. Значит, он во дворе кричал, звал её. Совсем незнакомый, а её откуда-то знает.

– Ну я, а вы кто?

Стыдно-то как, ватник и калоши – это она спросонья напялила. Ей приснился фабричный стационар, где Любаха неделю пролежала в конце зимы. Сейчас время такое: только что деталь в тиски закрепила, тампон в полироль макнула – и вдруг лежишь под верстаком, пыль довоенную нюхаешь. Потом с силами соберёшься, вылезешь потихоньку – и за работу.

– Я с поручением к вам от Элеоноры. Меня Александром зовут, можно Сашей.

От какой еще Элеоноры? Так это ж Элька, подруга самая-самая! Как в эвакуацию в августе 41-го уехала с мамой Ниной Георгиевной и тётёй Адой, так ни духу, ни слуху. Ни письмишка не написала. Любка думала, что померли они все. А что, всякое могло случиться. Многие до места не доезжали, по дороге умирали: кто от бомбёжек прямо в вагонах, а дети от поносов – антисанитария в дороге, особенно ближе к югу. Оказывается, живы!

– А где она? Не приехала ещё?

Конечно, не приехала, иначе бы уже здесь была. Квартира их на четвёртом этаже так и стоит заколоченная.

– Нет, но скоро приедет. У них тётя Ада умерла этой зимой, а Элеонора с мамой домой возвращаются. Просили квартиру их подготовить, уборку там сделать. Я вам помогу, можете мной распоряжаться, – Саша чётким движением приподнял левую руку, взглянул на часы, – до восемнадцати ноль-ноль.

– Но у меня нет ключа от квартиры.

– Вот ключ, мне его Нина Георгиевна дала и к вам посоветовала обратиться, сказала, что вы квартиру знаете хорошо и поможете мне с уборкой.

Да, квартиру Любаха знает как свою. С детства прятались по шкафам. Не то чтобы подслушивали старших, а ждали, когда их хватятся. Очень интересны были нелепые предположения, куда они могли подеваться: то в цирк поехали – это они-то, мелюзга, одни якобы в цирк отправились! – или по квартирам ходят, телеграммы разносят – как будто кто им телеграммы доверит! Правда впоследствии, когда они уже в школе учились, Любка стала догадываться, что взрослые всё про их фокусы знали и просто подыгрывали им, «искренне» удивляясь внезапному выкатыванию пропавших девчонок из дверей шкафа.

А еще Любка знает про один «секрет», который они с Элькой перед её эвакуацией сделали. В горшке с обречённым фикусом выкопали ямку среди корней и опустили в неё картонную коробочку от серёжек, подаренных Эльке на день рождения. На атласную подушечку пристроили свои богатства: вставили на место в прорези дарёные серёжки – их брать с собой мама не разрешила, – а Любка положила рядом старинную «золотую» пуговицу, которую нашла на улице очень давно, ещё до мамкиной смерти. Сверху всё прикрыли кусочком стекла и засыпали землёй. Договорились, как только Элька вернётся из эвакуации, «секрет» вместе открыть. И клятву дали: если выживут, никогда больше не разлучаться и не ссориться...

– Давай-ка мыться, смотри, какие руки грязные, в чём-то уделала, не оттереть. Небось опять памперс трогала.

– Да ну, Элька, руки как руки. Я уборкой занималась, всю квартиру тебе отскребла, двухлетнюю грязь отёрла. Сашка только хвалился, что поможет, а сам доски от дверей отдрал, ключ мне оставил – и куда-то делся, ищи теперь его.

– Ну и молодец, возьми с полки пирожок. А мыться всё же будем. Вдруг кто придёт: покажите нам Любовь Ивановну, скажет. Как вы тут за ней смотрите, хорошо ли ухаживаете?

– Что за мной ухаживать, я не маленькая. Вот поест бы чего... Ты что-нибудь привезла, Элька?

– Сейчас, мамулечка, намою тебя и поедим. Я омлет с зеленью сделала, ты ведь любишь омлет?

– Я всё люблю. Когда голод, не разбираешь, что ешь. Тебе этого не понять. Ты в Самарканде так не голодала, там всё само растёт и бомбёжек нет.

– В прошлый раз ты говорила, что тётя Эля эвакуировалась за Урал, а теперь – в Самарканд. Не вертись, я шею оботру.

– Холодно, вытирай скорее, есть очень хочется....

А в квартире пыли-то, пыли, всё серое от пыли. Стёкла почти что уцелели под бумажками крест-накрест, только в кухне осколки на полу, а в окне – всё в кудряшках облаков небо и разрушенный дом напротив. Вот Александр воды принёс, сейчас порядок наводить будем.

– А вы кто им будете, Красницким? Ну, Эльке с мамой?

– Да никто покамест. Познакомились в театре оперы и балета, эвакуированном в Пермь. Но надеюсь, что в скором будущем...

Ах вот они как жили, пока Любка с голоду пухла... По театрам ходили, небось конфеты ели в антракте. С офицерами знакомились, которые теперь полы готовы мыть. И ведь ни одного письма! А теперь, видите ли, приезжают, им чистую квартирку подавай! Любаха и свою-то не убирает. Для кого убирать, никто дома, считай, и не живёт. Да и сил едва хватает, чтобы работать и на дорогу. А они, значит, жили себе припеваючи, про Любаху забыли, решили, что она умерла, как сотни тысяч умерли...

– Я, пожалуй, пойду, мне отдохнуть надо, чтобы до работы дойти.

И уж к двери направилась, да только Александр не пустил.

– Никуда я вас не отпущу, и помогать мне не надо, я сам всё сделаю, только подсказывать будете. А пока мой вещмешок разберите, в нём для вас гостинец от Нины Георгиевны. Чаю бы горячего я с вами вместе попил. И вообще, давайте на ты перейдём, к чему эти старорежимные выканья.

– Это можно. Только кипятку надо согреть, пойду к себе, печурку затоплю.

Вот это богатство! Три буханки хлеба, консервы – шесть банок – конфет целый кулёк и пачка махорки! А ещё небольшие пакетики: крупы разные, сахарный песок, чай, разноцветные обмылки.

– Нина Георгиевна даёт уроки музыки детям первого секретаря Пермского горкома партии. И ещё по хозяйству помогает, так что накопила всяких остатков. А хлеб и махорка – от меня.

Зря о них плохо думала, помнили о ней, крохами копили, чтоб посылочку передать. Александр, хоть и старшина второй статьи, так проворно всю квартиру убрал, как простой матрос.

– Так, значит, ты Элькин жених?

– Пока что нет. У неё другие поклонники, а я редко там бываю, успеваешь забыть. Как говорится – с глаз долой, из сердца вон.

– Ну, что ж, жди своего часа... А про какое счастье ты мне кричал? Которое я могу проворонить. Про посылку эту, что ли?

– Ничего такого я не кричал. Я вообще не кричал. В дверь стучал, было дело. Только никто не откликнулся, я во двор пошёл на их окна посмотреть, целы ли. Уже хотел уходить, а тут ты навстречу.

– А как же ты меня узнал?

– Так я твоё фото у Эли видел, где вы вместе сняты.

Благо, что узнал! Теперь она лет на десять старше выглядит, зубы повыпадали, кожа серая, пергаментная, ногти обломаны. Да ещё в ватнике среди лета.

Хотя ничуть не жарко. И откуда-то сильно дует... Закрывать бы окно, да не встать никак. Эй, Нинка, Настя, поднимитесь кто-нибудь и окно закройте! Нечего валяться, надо встать и делами заниматься, слышите! Да что ж они! Живы или нет? Эй, вы там, живы?

– Живы, живы, сейчас обогреватель включим. Чайку попьёшь и согреешься. Блинков тебе принести?

– Ещё спрашиваете, как будто не знаете, какой у меня паёк. Сашка-то не приходил больше?

– Какой Сашка? У тебя их два было, ты какого ждём?

– Выдумают тоже – два! У меня ни одного нет, это у Эльки морской старшина – Сашкой зовут.

– У тёти Эли был дядя Вася. А Сашка-моряк был у тебя – Марусин папа. Ты что, Рыжова забыла?

– Ничего я не забыла. И Рыжова хорошо помню, на гитаре играл. Только он к Эльке сватался.

– Может, и сватался, мамуля, да женился он на тебе. На-ка блинчик с вареньем, Маруська привезла, сама протирала клубнику с сахаром. Ешь давай.

Вот, значит, как... И что Элька? Так просто отдала? Погоди-ка, погоди-ка, путают они всё. Ведь Элька приехала, когда весна была. Фигус засохший они разрыли, богатства свои детские нашли. И поклялись в вечной дружбе? Нет, не поклялись. Повзрослели они, клятвы смешными показались. А может, всё же они поссорились? Из-за Сашки поссорились, что ли?

Саша, ты помнишь наши встречи в Приморском парке, на берегу? Именно там всё и произошло. Хотя сначала была вечеринка. У Эльки дома, по случаю её возвращения. Нина Георгиевна в ночь работала, и Элька собрала всех подруг, кто вернулся. Сашка с другом пришёл, бутылку вина довоенного где-то раздобыли, закуску скромную приготовили. Надеть Любахе было нечего, у Эльки пришлось юбку взять, да крёстная из красного уголка скатерть старую принесла и блузку сшила – линияющую, подкопчённую, зато впору и любимого красного цвета.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.